

Сестры

На этот раз не было никакой надежды: это был третий удар. Каждый вечер я проходил мимо дома (это было время каникул) и разглядывал освещенный квадрат окна; и каждый вечер я находил его освещенным по-прежнему, ровно и тускло. Если бы он умер, думал я, мне было бы видно отражение свечей на темной шторе, потому что я знал, что две свечи должны быть зажжены у изголовья покойника. Он часто говорил мне: «Недолго мне осталось жить на этом свете», и его слова казались мне пустыми. Теперь я знал, что это была правда. Каждый вечер, глядя в окно, я произносил про себя, тихо, слово «паралич». Оно всегда звучало странно в моих ушах, как слово «гномон» у Евклида и слово «симония» в катехизисе. Но теперь оно звучало для меня как имя какого-то порочного и злого существа. Оно вызывало во мне ужас, и в то же время я стремился приблизиться к нему и посмотреть вблизи на его смертоносную работу.

Старик Коттер сидел у огня и курил, когда я сошел к ужину. Когда тетя клала мне кашу, он вдруг сказал, словно возвращаясь к прерванному разговору:

— Да нет, я бы не сказал, что он был, как говорится... Но что-то с ним было неладно... Странно, что он... Я вам скажу мое мнение...

Он запыхтел трубкой, будто собираясь с мыслями. Скучный, старый болван!

Когда мы только познакомились с ним, он все-таки казался интересней, рассказывал нам о разных способах перегонки, но очень скоро надоел мне этими бесконечными разговорами о винокурении.

— У меня, видите ли, своя теория, — сказал он. — По-моему, это один из тех исключительных случаев... но, впрочем, трудно сказать...

Он опять запыхтел трубкой, так и не поделившись с нами своей теорией. Тут дядя заметил мои удивленные глаза.

— Печальная новость, — сказал он, — скончался твой старый друг.

— Кто? — спросил я.

— Отец Флинн.

— Он умер?

— Да вот мистер Коттер только что рассказал нам об этом. Он проходил мимо дома.

Я знал, что за мной наблюдают, а поэтому продолжал есть, как будто это известие совсем не интересовало меня. Дядя пояснил Коттеру:

— Они с мальчишкой были большие друзья, старик многому научил его; говорят, он был очень привязан к нему.

— Царство ему небесное, — сказала тетя набожно.

Старик Коттер присматривался ко мне некоторое время. Я чувствовал, что его черные, как бусины, глаза пытливо впиваются в меня, но я решил не удовлетворять его любопытства и не отрывал глаз от тарелки. Он опять занялся своей трубкой и наконец решительно сплюнул в камин.

— Я бы не допустил, — сказал он, — чтобы мои дети водились с таким человеком.

— Что вы хотите сказать, мистер Коттер? — спросила тетя.

— Я хочу сказать, — пояснил Коттер, — что это вредно для детей. Мальчик должен бегать и играть с мальчиками своего возраста, а не... Верно я говорю, Джек?

— И я так думаю, — сказал дядя. — Вот и этому розенкрейцеру я всегда говорю: делай гимнастику, двигайся, да что там — когда я был таким сорванцом, как он, зиму и лето первым делом, как встанешь, холодной водой... Теперь-то вот я и держусь. Образование — все это очень хорошо и полезно, но... Может быть, мистер Коттер скушает кусочек баранины, — заметил он тете.

— Нет, нет, пожалуйста, не беспокойтесь, — сказал Коттер.

Тетя принесла из кладовки блюдо и поставила его на стол.

— Но почему же вы думаете, мистер Коттер, что это нехорошо для детей? — спросила она.

— Это вредно для детей, — ответил Коттер, — потому что детские умы такие впечатлительные.

Когда ребенок видит такое, вы что думаете, это на него не влияет?

Я набил полон рот овсянки, чтобы как-нибудь нечаянно не выдать своей злобы. Скучный, старый, красноносый дурак!

Я поздно заснул в эту ночь. Хотя я был сердит на Коттера за то, что он назвал меня ребенком, я ломал голову, стараясь понять смысл его отрывочных фраз. В темноте моей комнаты мне казалось — я снова вижу неподвижное серое лицо паралитика. Я натягивал одеяло на голову и старался думать о Рождестве. Но серое лицо неотступно следовало за мной. Оно шептало, и я понял, что оно хочет покаяться в чем-то. Я чувствовал, что я погружаюсь в какой-то греховный и сладостный мир, и там опять было лицо, сторожившее меня. Оно начало исповедоваться мне тихим шепотом, и я не мог понять, почему оно непрерывно улыбается и почему губы его так влажны от слюны. Потом я вспомнил, что он умер от паралича, и почувствовал, что я тоже улыбаюсь, робко, как бы отпуская ему страшный грех.

На следующее утро после завтрака я пошел взглянуть на маленький домик на Грэйт-Бритен-стрит. Это была невзрачного вида лавка с выцветшей вывеской «Галантерея». В основном там продавали разные зонты и детскую обувь. В обычное время на окне висело объявление — «Перетяжка зонтов». Сегодня его не было видно: ставни были закрыты. Дверной молоток обвязан крепом. Две бедно одетые женщины и рассыльный с теле-

графа читали карточку, пришпиленную к крепу.
Я тоже подошел и прочел:

1 июля 1895 года.
Преподобный Джеймс Флинн
(бывший священник церкви
Св. Екатерины на Мит-стрит)
65 лет.
R. I. P.*

Чтение карточки убедило меня в том, что он умер, и я растерялся, наконец поняв случившееся. Если бы он не умер, я вошел бы в маленькую комнату за лавкой и увидел бы его сидящим в кресле у камина, закутанным в пальто. Может быть, тетя прислала бы ему со мной пачку «Отборного» и этот подарок вывел бы его из оцепенелой спячки. Обычно я сам пересыпал табак в его черную табакерку, потому что руки у него слишком дрожали и он не мог проделать этого, не рассыпав половину на пол. Даже когда он подносил свою большую трясущуюся руку к носу, крошки табака сыпались у него между пальцами на одежду. Из-за этого вечно сыплющегося табака его старая священническая ряса приобрела зеленовато-блеклый оттенок, и даже красного носового платка, которым он смахивал осевшие крошки, не хватало — так он чернел за неделю.

Мне хотелось войти и посмотреть на него, но я не решался постучать. Я медленно пошел по солнеч-

* Да покоится в мире (*лат.*).

ной стороне улицы, читая на ходу все театральные афиши в витринах магазинов. Мне казалось странным, что ни я, ни самый день не были в трауре, и я даже почувствовал неловкость, когда вдруг ощутил себя свободным, — как будто его смерть освободила меня от чего-то. Меня это удивило, потому что в самом деле, как сказал дядя накануне вечером, он многому научил меня. Он окончил Ирландский колледж в Риме и научил меня правильно читать по-латыни. Он рассказывал мне о катакомбах, о Наполеоне Бонапарте, он объяснял мне значение различных обрядов мессы и различных облачений священника. Ему доставляло удовольствие задавать мне трудные вопросы, спрашивать, как поступать в тех или иных случаях, или выяснять, считаются ли те или другие грехи смертными, разрешимыми или просто прегрешениями. Его вопросы открывали мне, как сложны и таинственны те установления церкви, которые я всегда считал самыми простыми обрядами. Обязанности священника в отношении евхаристии и тайны исповеди казались мне такими важными, что я поражался, как у кого-нибудь может хватить мужества принять их на себя, и я несколько не был удивлен, когда он рассказал мне, что отцы церкви написали книги толщиной с почтовые справочники, напечатанные таким же мелким шрифтом, как объявления о судебных процессах в газетах, для разъяснения всех этих запутанных вопросов. Часто я не мог дать ему никакого ответа или отвечал, путаясь, какую-нибудь глупость, он же улыбался и кивал головой. Иногда он проверял мое

знание ответов во время мессы, которые заставлял меня выучивать наизусть, и, если я сбивался, опять кивал и задумчиво улыбался, время от времени засовывая щепотку табака по очереди в каждую ноздрю. Улыбаясь, он обнажал свои большие желтые зубы, и язык его ложился на нижнюю губу — привычка, от которой я чувствовал себя неловко в первое время нашего знакомства, пока не узнал его ближе.

Шагая по солнечной стороне, я вспоминал слова Коттера и старался припомнить, что случилось после, во сне. Я вспомнил — бархатные занавеси, висячая лампа старинной формы. Я был где-то далеко, в какой-то стране с незнакомыми обычаями — может быть, в Персии... Но я не мог вспомнить конец сна.

Вечером тетя взяла меня с собой в дом покойного. Солнце уже зашло, но оконные стекла домов, обращенные к западу, отражали багряное золото длинной гряды облаков. Нэнни встретила нас в передней. Ей надо было кричать, а это было неуместно, и потому тетя молча поздоровалась с ней за руку. Старуха вопросительно указала рукой наверх и, когда тетя кивнула, повела нас по узенькой лестнице, и ее опущенная голова оказалась на одном уровне с перилами. На площадке она остановилась, приглашая нас жестом войти в комнату покойного. Тетя вошла, но старуха, видя, что я остановился в нерешительности, снова несколько раз поманила меня рукой.

Я вошел на цыпочках. Комнату заливал закатный солнечный свет, проникавший сквозь кру-

жевные края занавески, и свечи в нем были похожи на тонкие бледные язычки пламени. Он лежал в гробу. Нэнни подала пример, и мы все трое опустились на колени в ногах покойника. Я делал вид, что молюсь, но не мог сосредоточиться: бормотанье старухи отвлекало меня. Я заметил, что юбка у нее на спине застегнута криво, а подошвы ее суконных башмаков совсем стоптаны на один бок. Мне вдруг почудилось, что старый священник улыбается, лежа в гробу.

Но нет. Когда мы поднялись и подошли к изголовью кровати, я увидел, что он не улыбается. Важный и торжественный, лежал он, одетый как для богослужения, и в вялых больших пальцах косо стояла чаша. Его лицо было очень грозно: серое, громадное, с зияющими черными ноздрями, обросшее скудной седой щетиной. Тяжелый запах стоял в комнате — цветы.

Мы перекрестились и вышли. В маленькой комнате внизу Элайза торжественно сидела в его кресле. Я пробрался к моему обычному месту в углу, а Нэнни подошла к буфету и достала графин с вином и несколько рюмок. Она поставила все это на стол и предложила нам выпить по рюмке вина, затем по знаку сестры она налила вино в рюмки и передала их нам. Она предложила мне еще сливочных сухарей, но я отказался, потому что думал, что буду слишком громко хрустеть. Она как будто огорчилась моим отказом, молча прошла к дивану и села позади кресла сестры. Никто не произнес ни слова: мы все смотрели в пустой камин.

Элайза вздохнула, и тогда тетя сказала:

— Он теперь в лучшем мире!

Элайза еще раз вздохнула и наклонила голову, как бы соглашаясь с ней. Тетя повертела рюмку с вином, прежде чем отпить глоток.

— А как он... мирно? — спросила она.

— Очень мирно, — ответила Элайза. — И сказать было нельзя, когда он испустил дух. Хорошая была смерть, хвала Господу.

— Ну, а?..

— Отец О'Рурк был у него во вторник, соборовал и причастил его.

— Так, значит, он знал?..

— Да, он умер в мире.

— И вид у него примиренный, — сказала тетя.

— Вот и женщина, которая приходила обмыть его, тоже так сказала. Он, сказала она, как будто уснул, и лицо у него такое покойное, мирное. Никто бы ведь и не подумал, что он в гробу будет так хорош.

— И правда, — промолвила тетя.

Она отпила еще глоток из своей рюмки и сказала:

— Ну, мисс Флинн, для вас должно быть большое утешение в том, что вы делали для него все, что могли. Вы обе очень заботились о нем.

Элайза расправила платье на коленях.

— Бедный наш Джеймс, — сказала она, — Бог видит, мы делали для него все, что могли. Как ни трудно нам было, мы ни в чем не давали ему терпеть нужду.

Нэнни прислонилась головой к диванной подушке, казалось, она вот-вот заснет.

— Да и Нэнни, бедняжка, — сказала Элайза, взглянув на нее, — измаялась вконец. Все ведь пришлось делать самим — и женщину найти, чтобы обмыть, убрать его и положить на стол, и заказать мессу в церкви. Если бы не отец О'Рурк, уж и не знаю, как бы справились. Он вот и цветы прислал, и два подсвечника из церкви, и объявление во «Фримен джорнел» дал, и взял на себя все устроить на кладбище и насчет страховки бедного Джеймса.

— Вот и молодец, — сказала тетя.

Элайза закрыла глаза и медленно покачала головой.

— Да уж, старый друг — это верный друг, — сказала она, — а ведь если правду сказать, какие друзья у покойника?

— Что правда, то правда, — сказала тетя. — Вот он теперь на том свете и помянет вас за все, что вы для него сделали.

— Ах, бедный Джеймс, — повторила Элайза. — Не так уж много было с ним и хлопот. И слышно-то его в доме было не больше, чем сейчас. Ведь хоть и знаешь, что ему...

— Да, теперь, когда все кончилось, вам будет недоставать его, — сказала тетя.

— Я знаю, — сказала Элайза. — Никогда уж не придется мне больше приносить ему крепкий бульон и вам, мэм, присылать ему табачок. Бедный Джеймс!

Она замолчала, словно погрузившись в прошедшее, потом серьезно сказала:

— Последнее время я видела, что с ним что-то неладное творится. Как ни принесу ему суп, все вижу — молитвенник на полу, а сам он лежит в кресле откинувшись, и рот у него открыт.

Она потеряла нос, нахмурилась, потом продолжала:

— Он все говорил, вот бы, пока лето не кончилось, в Айриштаун съездить на денек, на наш старый дом посмотреть, где мы родились, и меня хотел взять с собой, и Нэнни. Вот только бы удалось достать недорого у Джонни Раша, здесь неподалеку, одну из этих новомодных колясок без шума — отец О’Рурк ему говорил, есть нынче с особенными какими-то ревматическими колесами, — и поехать всем втроем в воскресенье под вечер... Крепко это ему в голову засело... Бедный Джеймс!

— Упокой, Господи, его душу, — сказала тетя.

Элайза достала носовой платок и вытерла глаза. Потом она положила его обратно в карман и некоторое время молча смотрела в пустой камин.

— А уж какой он был щепетильный, — сказала она. — Не под силу ему был церковный сан, да и в жизни-то ему, тоже сказать, выпал тяжелый крест.

— Да, — сказала тетя, — отчаявшийся был человек. Это было видно по нему.

Молчание наступило в маленькой комнате, и, воспользовавшись им, я подошел к столу, отпил глоток из своей рюмки и тихо вернулся на свое место в углу. Элайза, казалось, погрузилась в глубокое забытие. Мы почтительно ждали, когда она нарушит молчание; после долгой паузы она заговорила медленно:

— Это все чаша, что он тогда разбил... С этого все и началось, конечно, говорили, что это не беда, что в ней ничего не было. Но все равно... говорили, будто бы виноват служка. Но бедный Джеймс стал такой нервный, упокой, Господи, его душу!

— Так разве от этого? — спросила тетя. — Я слышала, будто...

Элайза кивнула.

— От этого у него и разум помутился, — сказала она. — После этого он и задумываться начал, и не разговаривал ни с кем, все один бродил. Как-то раз вечером пришли за ним на потребу звать, но нигде не могли его найти. Уж и где они его только не искали, и туда и сюда ходили — пропал, и следа нет. Вот тогда причетник и посоветовал посмотреть в церкви. Взяли они ключи, отперли церковь, и причетник, и отец О'Рурк, и еще другой священник с ними был, все с огнем пошли, поискать — не там ли. Ну и что же вы думаете, там и был — сидит один-одинешенек в темноте у себя в исповедальне, уставился в одну точку и будто смеется сам с собой.

Она внезапно остановилась, как бы прислушиваясь. Я тоже прислушался: ни звука в доме, я знал, что старый священник тихо лежит себе в гробу такой, каким мы его видели, — торжественный и грозный в смерти, с пустой чашей на груди.

Элайза повторила:

— Уставился в одну точку и будто смеется сам с собой... Ну тогда, конечно, как они его увидели, так уж и догадались, что неладно что-то...

Встреча

С Диким Западом нас познакомил Джо Диллон. У него была маленькая библиотечка, составленная из старых номеров «Флага Британии», «Отваги» и «Дешевой библиотеки приключений». Каждый вечер после школы мы встречались у него на дворе и играли в индейцев. Он со своим младшим братом Лео, толстым ленивцем, защищал чердак над конюшней, который мы штурмовали; или у нас разыгрывался кровопролитный бой на лужайке. Но как мы ни старались, нам никогда не удавалось одержать верх в осаде или в бою, и все наши схватки кончались победной пляской Джо Диллона. Его родители каждое утро ходили к ранней мессе в церковь на Гардинер-стрит, и в передней их дома господствовал мирный запах миссис Диллон. Но мы были моложе и боязливей его, и нам казалось, что он предается игре слишком неистово. Он и в самом деле походил на индейца, когда носился по саду, нахлобучив на голову старую грелку для чайника, бил кулаком по жестянке и вопил:

— Йа, яка, яка, яка!

Никто не хотел верить, когда узнали, что он решил стать священником. Между тем это была правда.